

A dramatic landscape featuring a stone lighthouse on a rocky cliff overlooking a turbulent sea under a stormy, sunset sky. The lighthouse is a cylindrical stone tower with a lantern room at the top, perched on a steep, rocky cliffside. A stone staircase with a metal railing leads up to the base of the lighthouse. The sea is dark and turbulent, with white-capped waves crashing against the rocks. The sky is filled with dark, heavy clouds, with a bright orange and yellow glow from the setting or rising sun breaking through near the horizon. The overall mood is somber and atmospheric.

Пепел Иова

Максим Чурилов

Максим Чурилов

Пепел Иова

<https://litres.ru/74069866>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мрачная и пронзительная психологическая повесть о вине, памяти и правде, от которой невозможно убежать.

На одиноком острове посреди холодной Атлантики живёт смотритель маяка. Филип привык к ветру, сырости, тишине и простой ежедневной обязанности — каждый вечер зажигать огонь. Но однажды привычный мир начинает трескаться. В башне звучат голоса, за дверями открываются невозможные пространства.

Каждый шаг по лестнице становится спуском в собственную память. И чем ближе Филип подходит к вершине маяка, тем яснее понимает: настоящий ад — не огонь, не чудовища и не вечная мука. Настоящий ад начинается тогда, когда правда наконец догоняет тебя.

Это атмосферная история о раскаянии, одиночестве и попытке простить себя за то, что уже невозможно изменить, и за то, чего, возможно, не было.

Что скрывает смотритель маяка? Можно ли пережить встречу с собственной виной? И что останется от человека, когда пепел прошлого развеется над холодным морем?

Содержание

Глава	4
Глава I. Воды Атлантики	5
Глава II. Лестница Юнга	13
Глава III. Тиран без костей	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Максим Чурилов

Пепел Иова

Глава

«...поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.»
— Книга Иова, 42:6

Глава I. Воды Атлантики

Утро выдалось смутным. Атлантический ветер выдувал из тела последнюю жизнь — с теплом, с птицами, что летели по ветру, уносились и все несказанные слова. Тревога стояла с рассвета, неподдельная, ни на чем не основанная. Может, будет буря. А может, и нет. На душе в любом случае держалось то далекое беспокойство, которое и волнением назвать нельзя: скорее легкая одышка и привкус неуютта. В общем, чувства привычные. И погода располагала к такому исходу — тучи с северо-запада тянулись длинными, непроглядными караванами. Темнело. Быстро темнело. Не то чтобы было поздно — было просто темно, хотя не пробило еще и шести вечера. И ведь не зима стояла на дворе, а конец морозного мая. Море волновалось заодно с небом и било волнами о пологие уступы этого скалистого острова. Брызги долетали до самой травы и оседали на ней мелкой соленой пылью, от которой к вечеру все на острове делалось чуть липким на ощупь.

Каменный клочок земли был невелик. При должном упорстве его можно было пройти за день поперек, встретив по дороге и редкие леса, и поля, а в основном — высокие холмы с замашками на океанические горы. Нос пробивало висящей в воздухе влагой. Впрочем, здешний смотритель маяка к такому давно привык. Сырость тут пропитывала все насквозь

— от хлеба в шкафу до костей в теле; печь ее не брала, и со временем человек переставал ее замечать, как перестает слышать тиканье часов у себя дома. От его домика до самого маяка, в котором Филип не жил постоянно — слишком трудно было бы отапливать эту башню, — вела тропинка по изгибам лысых полей и оврагов. Тропа была даже не тропой, а памятью о ней — две колеи, протоптанные за годы одними и теми же ботинками, его да прежнего смотрителя. Под подошвой пружинил мокрый дерн, кое-где проступал камень, и нога знала эти камни наперечет, как язык знает каждую щербину в зубах. Деревьев тут почти не росло, прятаться ветру было не за что, и он шел вместе с человеком всю дорогу, толкая в спину, будто торопил. Ночь близилась, погода с раннего утра стояла дурная, и он решил зажечь огонь чуть раньше срока. Как всегда ухоженный, с зализанной челкой, в любимом белом плаще, в котором все смотрели на него как на дурака, — а ему нравилось, — и в накрахмаленных ботинках, Филип кряхтел в сторону наскучившей груды кирпичей. Сам он был высокий, а от любимого занятия резьбой по дереву и вечного сидения — еще и сутулый, жилистый: едой баловаться не любил, да и островная жизнь особого выбора ему не предлагала. В целом человек приятный на внешность, хотя иной упрекнул бы его, обозвав скелетом — как любя называла жена. По старой привычке он достал из правого кармана сигареты, свои любимые, от мужика с собачкой, на которого, видно, и старался походить одежкой. Чиркнул зажи-

галкой, опалив грубые кончики пальцев, прислонил сигарету ко рту и, не сбавляя шага, пытался ее раскурить, укрывая ладонями от северного дуновения этот огонек — маленькое теплое спокойствие, хотя при таком стаже курения оно почти не действовало ни на нервы, ни на ум.

Одиночество заставляло часто вспоминать былые годы — до того как он развелся с женой и уехал на эту вахту. Родной дом в Ольборге Филип вспоминать не любил. Слишком много было с ним связано; проще оказалось жить этим камнем посреди океана, чем несбыточным прошлым. Да и были ли там мечты. Возможно. Об одном он жалел. В последнюю их встречу с дочерью он так и не сказал, что любит ее. Каждый день перед глазами вставала эта веселая девчушка со светлыми волосами. Хорошие были времена. А что осталось теперь?

Он и сам не заметил, как сел поближе к обрыву. Взял горсть стылой, твердой как бетон земли, промял ее в пальцах и кинул по ветру в сторону океана. Мгновение — и мокрый мелкий песок с камешками унесло куда-то вдаль. Ей уже, должно быть, двенадцать, усмехнулся он про себя. Помню, будто недавно еще пел ей колыбельные над кроваткой. Филип вынул сигарету изо рта трясущимися пальцами. Нет, не холодно, точнее — не настолько; просто старость, как он шутил, хотя не было ему и сорока. Всем телом он выдохнул дым, проедающий легкие, на секунду замер и набрал полную грудь, будто обычного дыхания ему не хватало. Дурная была

привычка — дышать редко. От прохлады Атлантики вечно заложен нос, да и мысли отвлекают от такого мирского дела.

Торопливость, еще пять минут назад гнавшая его к башне, спала. Не то чтобы он успокоился душой — просто перестал подавать этому вид. Странное дело: камни на острове — его собственные маленькие частички, они лежали тут уже миллионы лет. Не думаю, что вот этот камушек сюда завезли. А может, и завезли в кармане те психи из лечебницы на юге острова. Или чайки принесли. Бред, конечно, — онто здесь явно дольше меня. Может, его откололи орлы, охотясь на кроликов и мелкую тварь. Тысячи догадок. Он принялся нащупывать камни у правой ноги и бросать их в сторону воды. Один за другим они уходили в свинцовую воду, и всплеска слышно не было — ветер сносил звук раньше, чем тот успевал родиться. Бросок, тишина, еще бросок. Выходили такие четки без молитвы: руки при деле, голова будто бы тоже, и можно ненадолго убедить себя, что думаешь о камнях, а не о том, о чем думаешь всегда.

Леса на острове были необыкновенные тем, что их, в сущности, не было. Одна трава да холмы. С любой высокой точки остров просматривался насквозь, ни единого скрытого места. Несколько деревьев, правда, все же стояло, и непонятно было, как их занесло с севера Шотландии на этот отдаленный архипелаг. До большой земли — миль сто, не меньше.

Камни кончались, и скоро остался один, из тех, что лежали близко. Острый, продолговатый; это показалось ему лю-

бопытным — будто нож из слоистой породы. Ее зовут Алиса. Мы с Эбби долго не могли подобрать имя. Как-то раз я прочел его в газете и в шутку назвал вслух. Ей понравилось, а я и спорить не стал. Какая разница, как назвать; она все равно осталась бы красавицей.

Он лег на спину. Жестко, неудобно — больная спина и без того не говорит спасибо, а тут еще и холодно, как на границе. Но небо перебивало все неудобства. Так давно его не было видно. Мы его и не ищем. Небо не видно только потому, что мы смотрим себе под ноги, боясь оступиться. Где, если не здесь, остановиться на минуту и увидеть всю эту красоту. Вечно кирпичные джунгли, заборы, стены, давящие весом на душу. И все это мило, романтично — современность, она такая. Как тут быть веселым. Заводы, автомагистрали и прочие прелести — одно дело, прогресс штука тяжелая, за него платят жизнями. Тут скорее про то, что сам темп жизни стал другим. Как-то давние друзья позвали его в бар вечером пятницы, кажется, в октябре. День выдался тяжелым. Филип тогда еще работал днем в институте, преподавал психологию, а по вечерам подрабатывал там же уборщиком. Трудоголик, что говорить; может, оно и не плохо. Сколько работ нужно было проверить, кому-то написать письмо... В общем, так замотался, что и про друзей забыл. Им в этом повезло — почти все работают до шести. Жаль, что потом, сквозь годы, переругался со многими. Теперь и не вспомнить, где кто живет, чтобы навестить. Да и с памятью туго стало. Если чест-

но, даже смутно помнится, как впервые сошел на эти берега. Не так уж давно это было — а время тут идет по-своему.

Черные облака надвигались с востока. Тяжелые, глубокие. Может, грозовые. Время такое, май все-таки. Чуть левее проступали лица: хмурые брови, горбатый нос, острые скулы. С самого детства он замечал за собой это, но по образованию, конечно, знал, в чем дело и что свойственно оно почти каждому. Насколько будет силен ливень, угадать не получалось, а уходить пока не хотелось. Плащ промок, запачкался до ужаса — и в этом безобразии было что-то полезное. Внутренний перфекционист уснул на коленях вечернего приboя. Пожалуй, его забавляла свобода. Он ею никогда не жил. Сперва школа — родители строгие, учиться приходилось усердно. Потом университет, лучшая магистратура страны по психологии, практика при психоневрологическом диспансере. Педагогика, конечно, дело искусства, но по сути та же рутина. Эбби разнообразила жизнь, да со временем между нами встала стена. Одно общее счастье у нас и было — Алиса. И вдруг перед глазами всплыла картина.

Домик у моря, почти в центре города, угловой. Так приятно, солнечно. Из окон льются четкие, яркие лучи закатной звезды. Я только пришел с работы, устал до невозможности. Бросил портфель еще в коридоре, в угол, в надежде отдохнуть и разобрать его перед выходным. Глупо, наверное; не помню, разобрал ли вообще когда-нибудь. Любимая готовила ужин. Пахло так невероятно, что хотелось жить дальше

— хотя бы еще пару часов, чтобы попробовать ее стряпню. Дочка сидела у камина в гостиной, раскладывала свои девчачьи игрушки. Я зашел, опустился на диван, который чуть прогнулся подо мной. Алиса увидела меня и заулыбалась, как подснежник в марте, подбежала и уткнулась лицом мне в бок. Я обнял ее и был, наверное, самым счастливым человеком на свете. Даже Эбби, увидев это, подошла и мило поцеловала меня — несмотря на то что утром мы снова поругались. Это не было лицемерием. Мы любим друг друга, просто жизнь чуть тяжелее, чем это слово. Мне стало так тепло. Грустно, да — отчасти этот остров и показывал, какой пустоты я заслужил своей жизнью, — но так тепло. Это длилось мгновение. Занавес. Снова подцепил чертов ветер.

Пора было идти. Опершись руками, он приподнялся над землей и, качаясь, встал на обе ноги. В глазах потемнело — или это пришел тот самый час дня, когда с каждой минутой темнеет все сильнее. Филип потихоньку побрел к башне. Бычок уже дотлел на траве. Он закурил новую по той же схеме. Зачем-то ведь жизнь привела меня сюда. Одно и то же вертится на уме: кто виноват, кто прав, к чему все это. Странно — всю жизнь думать, где ты виноват, и в итоге оказаться на дне. Очень много ошибок — очень много утрат. В жизни не бывало, чтобы за ошибку никто не платил. И осознаем мы их только тогда, когда видим последствия. Зачем тогда думать о них наперед. Впрочем, самый частый защитный механизм человека — либо обвинить во всех бедах себя, либо

выдумать идеальный мир, где ты герой. Грустно здесь одно: понять, что ничем не отличаешься от прочих. Награжден теми же механизмами, и, осознав их, ты не излечиваешься — лишь окончательно убеждаешься, что ты псих, и всего-то.

Импульсивным движением он отбросил сигарету и на минуту замер. Ему слышались голоса. Не бред — просто отдаленные крики где-то на острове, к которым он попытался прислушаться: чьи они, или это лишь мерещится. Он, как известно, был тут далеко не один; вполне могло случиться что-то важное. Но это занимало его куда меньше собственных мыслей.

До двери маяка оставалось шагов десять — учитывая, какие исполинские были у него шаги. Хотелось еще немного подышать. Не зря же вышел на дежурство пораньше. Но служба — дело чести. Из заднего кармана появилась связка ключей, ржавая до ужаса. И кто бы подумал — дверь отпиралась самым маленьким из них. Замок скрипнул. Рука по привычке легла на сырую, прохладную латунную ручку. Упершись ногами в землю, Филип откинулся и потянул. Далеким скрипом дверь отворилась.

Глава II. Лестница Юнга

Резкая тишина ударила в уши. После того, что творилось снаружи, здесь было намного спокойнее. Не уютнее — просто вакуумная тишина да протяжные скрипы чего-то наверху. Филип прикрыл дверь, с силой втиснув ее в разбухший от влаги и времени проем. Постучал ботинками. Они были грязные, точнее — невыносимо пыльные; пыль тут стояла сырая, налипала на что попало. Глухим деревянным эхом кто-то стукнул ему сверху в ответ. В башне всегда стояло это особое, нежилое стыло — воздух, который никто не выдыхал, который просто висел между камней год за годом. Шаги отдавались гулко и тут же глохли, будто стены не хотели повторять их дважды.

Маяк этот — настоящая история, не иначе. Его построили лет сорок назад, как сказал прошлый смотритель. На вид, конечно, ему куда больше; не верится даже. Видимо, чье-то последнее детище, со следами старательной руки. Паркеты, которые на стыках повело по той же причине, что и дверной проем; кривые от собственной толщины стекла; вековой запах плесени — все так старомодно и по-детски наивно слеплено. Никогда не понимал такого складского дизайна. Точнее — когда в него пытаются добавить изюминку обыденного уюта. То ли дело в кофейнях завешивают все окна этой мишурой, а тут что? Стыло, скучно, блекло — впору устро-

ить морг для тех, кто боится высоты.

А картины? Такой изощренный вкус мог быть только у самой утонченной натуры. Или у конченого психопата. Кому знать. Вот, к примеру, «Крик» Эдварда Мунка. Мысль-то интересная, и экзистенциальный ужас многое значит в нынешнем мире, но неужто этой картине место — выйти из галереи и бродить по свету. Она ведь не мертворожденная: как-то, из воспаленного разума художника, она все же сложилась в мазки и формы. Но сама ее суть требует, чтобы зритель смотрел только на нее. Вешать такое в этом хламе — кощунство. Да и долго на нее смотреть невозможно. Она призвана будить эмоции — не те, что будит, скажем, тот пейзаж, что висит в домике. Там-то да, морской шедевр. Будто такого вида не хватает за окном. А как упустить маленькую репродукцию «Герники» Пикассо. Великий, что говорить, человек. Но его работы в этом месте напоминают мне дислексию. Человека заставляют читать между строк, когда он и самих строк прочесть не умеет. Эти картины поразили его не меньше, чем еще одна, — но та обладала свойством более притягательным. «Лицо войны» Сальвадора Дали. Такой лик трудно вообразить тому, кто не видел горя. Она висела на первом этаже. Он даже подошел ближе, когда вспомнил. Эти глаза. Тяжело прямо передать ту пустоту человеческих глаз, что видна лишь маленькой коре мозга, отвечающей за сострадание. Ужас и рядом не стоял с тем, что люди называют мировыми шедеврами. Хотя не поспоришь: взглядишься

надолго — и примет первобытным страхом.

Чего стоят одни глаза тех, кто убивал. Даже те, кто просто видел смерть, не забывают ее сквозь тысячи кошмаров. Говорят, убийцы помнят жертв сотни лет. Пол под ногами тяжело хрустнул. Филип к тому времени прошел вглубь первого этажа. Спиральная лестница уходила головокружительной линией вверх. Уже и не темно было. Он подошел и зажег керосиновые лампы. Теплый свет приятно залил этот безветренный островок. Выше, куда он не доставал, темнота висела плотно, и казалось, что лестница уходит не в башню, а прямо в нее. Откуда-то донесся шорох. Первая мысль — птицы. Вдруг что-то мелкое быстро прошмыгнуло по полу под начало лестницы и юркнуло в щель. Чуть напугало — думаю, обоих, а не одного Филипа. К тому же стояла такая тишина, что слышно было собственное дыхание.

Животные и не задумываются, когда убивают. Вечно слышу, мол, мы не животные. А в ответ всегда хочется сказать, что и слово «человек», и производная от него «человечность» самим людям свойственны не сильно. Такое самоожжение собственной морали как основы цивилизованного человека, низведение его до зверя — критическая ошибка. Тот же Пикассо вложил в «Гернику» столько усилий и мысли, что почти веришь: войны как явления не было бы, будь только все люди добрыми. Глупость и дурость, и нет в этом ничего постыдного. Насилие — такая же часть человека, как и лицемерие. Сколько ни тверди о святых, все рав-

но сыщется ханжа, который сведет это к профанации всей культуры и мысли, что придумал человек. Да, с точки зрения общественного порядка это плохо, но сам факт его наличия нельзя воспринимать сквозь призму максимализма, которым страдают порой и взрослые. Тяжело иной раз объяснить мальчишке, почему жечь жуков лупой нельзя. Один раз — еще эксперимент; но если это становится забавой, то новости плохие. И такие люди чаще всего считают, что все нормально, ведь не видят, что сделались маньяками и психопатами. А дело попросту в нехватке здоровых рядом. В психологии и психиатрии слишком много самообмана, чтобы всякий раз разбирать, где причина, а где следствие. Психа обмануть можно; главное в лечении — не выйти на самого себя, как говорил один знакомый профессор. Возвращаясь к мысли: так же тяжело доказать, что и сам ты относительно здоров. Объяснить плохое порой проще, чем хорошее. Часто оно и становится центральной программой поведения, подменяя серый мир, полный красок, на черный. Тот самый избитый защитный механизм.

Беглость мысли сложилась у него еще в университете. Точнее, усилилась до осязаемого. Иногда с теплотой он вспоминает те годы. Может, было просто проще; а может, и этого хватало для счастья. Счастье — мера натянутая. Человек всегда счастлив по-своему. Даже в такие минуты, как эта, люди бывают счастливы. Филип сказал это уже вслух. Его слышали стены да, быть может, та крыса. Цели быть услы-

шанным он не имел — ему хватало возможности произнести эту важную мысль. Да и все это съело время. Темнело. Пора было подниматься.

Переставляя деревянные суставы в сторону лестницы, Филип зацепился за неровный стык досок, но равновесия не потерял. С губ сорвался тихий мат, адресованный заведению, при котором он по долгу службы состоял в няньках. Шаг за шагом — и первая ступень уже под туфлей. Оставались мучительные сотни. Перила встретили пальцы горькой холодной сталью в мокроте. Пахло ржавчиной и сыростью — тем железистым духом, что остается на ладони, если долго держать в кулаке монету. Каждый выдох оседал в воздухе бледным облачком и таял где-то над следующим витком. Все, что было в них деревянным, давно рассохлось, а что было металлом — обросло добротным слоем благородной рабочей ржавчины. Не спеша он начал восхождение. Стояла немая обыденность. В такие минуты и думать не хочется. Хочется просто оказаться наверху. Как обычно, на пятом метре высоты его встретил гвоздь. Он засмотрелся на него. В глазах было мутно, и никак не получалось сфокусироваться. Вдруг получилось. Края резко затемнились. Гвоздь приблизился. Голова жутко заболела — с висков и с затылка. Тишина колола уши, в глазах темнело. Филип оперся о стену, пытаясь оторваться от этой тьмы. Глубоко вдыхал. Вдох... Выдох... Вдох... Стало еще холоднее.

Минута... Огоньки где-то в центре зрачка... По телу пол-

зут мурашки, что-то начало колоть у щиколоток. Шершавая кожа скользнула по ногам. В мгновение все остановилось. Дышать стало невозможно — точнее, такое дыхание не приносило ничего. Резкий щелчок... Адски холодно, руки побелели до молочного, губы слипаются. Первый кадр: маяк изнутри стал больше. Несколько секунд осознания, зрение прояснилось, но по краям держится темнота. Это было нечто. Огромная колонна из бетонных блоков. Внутренний диаметр — метров пятьдесят, а то и семьдесят. Спиральная лестница по стене, шириной чуть больше той, что на маяке. Стены, правда, и не были стенами: они были утыканы камерами из ржавых железных прутьев. Везде текли тонкие струйки воды, эхом капали капли, похожие больше на смесь слизи, дождя и крови. Бледно-коричневый свет освещал все вокруг крайне неровно — где-то хоть глаз выколи, где-то слепило. Филип подошел к краю и взялся за перила: голова все еще кружилась. Но тут же отдернул руки — металл обжигал кожу. Башня уходила вверх, казалось, на многие километры, ничуть не сужаясь в перспективе. Там был просто серый свет. Внизу все было мрачнее, но обнадеживающе. Метрах в двухстах с лишним внизу виднелось подобие пола. По сути — бетон, в лужи которого стекала вся эта жидкость. Брезгливостью Филип не страдал, но весь вид этого действия был ему противен.

Долго думать, что делать, не пришлось. Остаться на месте было бы странно. Идти вверх, не видя конца, — страш-

но. Не страшнее, чем к известному, но что-то определенно манило его. К тому же он только что заметил внизу какую-то дверь, из-под которой сочился золотистый свет. Этот свет был единственным теплым пятном на всю исполинскую трубу — желтый, домашний, какой бывает из-под кухонной двери поздним вечером. К нему тянуло так, как тянет замерзшего к любому огню, не разбирая, что там за ним. Он пошел вниз. Идти приходилось осторожно: ступени были скользкими, его самого качало. И только когда заложенность в ушах от того хлопка наконец пропала, Филип услышал, какие звуки доносились из клеток. Это были стоны. Не понять — счастья или горя. В каждой ноте этого места жила боль. Очень тяжело в нее вслушиваться. Были и детские стоны, и плач женщин, может, мужчин. Все это было оглушающим, но не громким. Былые концерты были куда громче. Но если бы нужно было докричаться до кого-то, на концерте это вышло бы проще. Вдали будто слышался набат. Филип выдохнул изо всех сил — это помогало отвлечься. Еще десять ступеней. Потом еще. Из всего набора звуков выделялся один: где-то рядом шла связная речь. Шаг чуть ускорился.

Глава III. Тиран без костей

Скоро он был уже совсем у низа. Здесь стояла густая темнота. Снизу тянуло холодом, какой идет от воды в каменных колодцах, и под ногами хлюпало то, во что не хотелось вглядываться. И наконец Филип подошел к той клетке, из которой доносился голос. Он остановился послушать. Голос был тихий и спокойный, как чтение старого диктора, смешанное с одышкой после бега:...Он благодетелей воспрещал, Сослал морозы, дикий зной, На небе взглядом навешал И брёл пустынею конвой.

Вдруг мужчина увидел Филипа. Точнее, услышал, видно, его томное дыхание и скрип ботинок. Глаза его горели маленькими огоньками. Медленным шагом он поднялся с камней и пошел к решетке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.